

Павел | ИРТЫШ
Косенко | И НЕВА

*Двенадцать лет
из жизни
Федора Достоевского,
литератора*

«Жазушы» Алма-Ата 1971

щением народов до всеобщего единства, как великое и великолепное древо, осенит собой счастливую землю!»

В таком предположении нет натяжки: мы знаем, что именно в те годы, когда прозвучали эти замечательные слова, писатель вспоминал своего давнего друга, обдумывая характер героя «Подростка» Версилова, мечтавшего о «золотом веке».

Семипалатинские годы Достоевского — это годы его «грозного чувства», его первой, запоздалой, мучительно трудной любви к жене маленького чиновника Марии Дмитриевне Исаевой, которая после сложнейших и трагичнейших перипетий, словно сошедших со страниц романов писателя, стала-таки наконец Марией Дмитриевной Достоевской.

Но не только по всему этому стали семипалатинские годы пограничной вехой в биографии гениального человековеда. К глубокой боли нашей, не только поэтому.

То были годы, когда Достоевский начал заставлять себя отрекаться от убеждений молодости. То были годы мучительной и трагической перестройки мировоззрения, навсегда отрезавшей великого писателя от лагеря сознательных борцов с самодержаемием. Эту перестройку, один из исследователей справедливо назвал крупнейшей катастрофой мировой литературы, ибо если и изломанный, наступающий на горло своей песне Достоевский, вопреки своим стремлениям, оказался одним из величайших мятежников в мировой литературе, то можно представить, каких высот достигло бы его творчество, если б оно было сознательно подчинено передовым идеям века, если бы вчерашний узник Мертвого дома нашел в борьбе идей место рядом с Чернышевским.

Вот какими были пять казахстанских лет Достоевского. Начнем же наше путешествие по этим крутым годам,

«ОТЛИЧАЛСЯ МОЛОДЦЕВАТЫМ ВИДОМ»

Каким был Семипалатинск, когда прибыл в него с обозом, везшим канаты, исдавший каторжник, а ныне рядовой 7-го Сибирского линейного батальона Достоевский?

В очень интересной в целом книге Виктора Шкловского «За и против. Заметки о Достоевском» о городе на Иртыше сказано так: «Если бы у Земли был край, то был бы такой край похож на Семипалатинск. Среди пыли и песка стоит несколько изб, там, впереди,— горы, пустыни Китая, в ко-

писал то, что осталось невысказанным за долгие тяжелые и одинокие дни».

На мой взгляд, в таком виде история этого знакомства не содержит ничего неправдоподобного, ничего противоречащего характеру Достоевского, его гуманности, той его «вере в людей, живой отзывчивости к их горестям», о которой говорил замечательный гуманист иного века Мухтар Ауэзов.

Но вскоре в жизнь Достоевского вошло трое людей, ярко осветивших его казахстанскую эпоху. Они остались — каждый по-своему — в душе писателя навсегда, до последних лет, когда уже совсем стерся в его памяти образ полуграмотной, несчастной и добродушной семипалатинской калачницы.

«ВЕЛИКОДУШНЕЙШАЯ ЖЕНЩИНА»

И первой из этих троих мы обязаны назвать Марию Дмитриевну Исаеву.

Сохранилась ее фотография. С нее смотрит на нас глубоким и грустным взглядом молодая женщина с чистым лбом, с тонкими чертами лица, на котором болезнь уже оставила свой след. Сумрачная красота этого лица может нравиться, может не нравиться, но бесспорно, что это лицо незаурядного человека.

Вторая жена Достоевского, Анна Григорьевна, его «добрый ангел», тайно и отчаянно ревновала мужа к памяти Марии Дмитриевны. После его смерти она не жалела труда, тщательно зачеркивая в черновиках писем Федора Михайловича любое упоминание об Исаевой. При активном содействии Анны Григорьевны была создана долго державшаяся легенда об Исаевой — легенда о малообразованной провинциалке со скверным характером, лишь по воле слепого случая ставшей на несколько лет спутницей великого писателя.

Но сам Достоевский думал иначе. Много лет спустя после смерти Марии Дмитриевны, разговаривая в ночной типографии в ожидании гранок с корректором — девушкой другого поколения, семидесятицей, народницей, — он вспоминал о Марии Дмитриевне с глубоким чувством: «Была эта женщина души самой возвышенной и восторженной. Сгорала, можно сказать, в огне этой восторженности, в стремлении к идеалу. Идеалистка была в полном смысле слова — да! — и чиста и наивна притом была совсем как ребенок, хотя, когда женился на ней, у нее был уже сын».

И не только у самого Достоевского оставила Мария Дмитриевна светлый след в памяти. Знаменитый географ П. П. Семенов-Тян-Шанский говорил о ней: «Она оказалась самой образованной и интеллигентной из дам семипалатинского общества. Но независимо от того, как отзывался о ней Ф. М. Достоевский, она была «хороший человек» в самом высоком значении этого слова». А барон Врангель, на глазах которого разыгрывалась мучительно трудная драма любви Достоевского и Исаевой, так характеризовал Марию Дмитриевну: «Она была начитанна, довольно образованна, любознательна, добра и необыкновенно жива и впечатльтельна».

Жизнь этой женщины, умершей тридцати четырех лет, сложилась поистине трагически. Между тем начало ее пути вовсе не предвещало страданий. Она родилась в обеспеченной семье: ее отец, Констант, сын выходца из Франции, служил начальником карантина в Астрахани. Мария Дмитриевна вышла замуж за человека своего круга, Александра Ивановича Исаева, чиновника, служившего на хорошем месте.

Но несколько лет первого замужества ужасно иско-веркали судьбу Марии Дмитриевны. Исаев начал страшно пить и быстро совершенно опустился. Из Западного края, где он служил, Исаеву пришлось переехать в Сибирь, где нужда в мало-мальски знающих чиновниках была так велика, что начальство соглашалось смотреть на поведение подчиненных сквозь пальцы, лишь бы они не переходили самой уж последней грани. Но Исаев уже не мог держаться ни на какой грани. И в Семипалатинске он шатался по грязнейшим грошовым кабакам с настоящими золоторотцами. Со службы его вскоре выгнали окончательно. Средств у семьи не было никаких, и сна стояла на пороге нищеты. А у Марии Дмитриевны был на руках маленький сын.

Самым скверным для Исаевой, пожалуй, оказалось то, что пропавший Александр Иванович вовсе не был закоренелым негодяем, эгоистом. Бездельник поневоле, отставной козы барабанщик, он продолжал по-своему любить жену и сына. Полосы запоя и странствий по кабакам персмежались у него периодами искреннего раскаяния, исступленного самобичевания, обещаний начать новую жизнь. Тираном в семье он никак не был, отчетливейше сознавал свою вину перед женой. «Он был, несмотря на множество грязи, чрезвычайно благороден», — вспоминал о нем Достоевский. И несчастная

женщина сотни раз переходила от отчаяния к надежде — до нового запоя мужа. Нервы ее были издерганы невероятно.

К моменту знакомства с Достоевским семья Исаевых семипалатинским «обществом» была отвергнута почти совершенно. Исаев потерял всякие остатки воли. До дна опустившийся пропойца, редкие трезвые дни он просиживал в своем закутке за печью, бессмысленно листая единственную свою книгу — собрание биографий генералов двенадцатого года. Вместе с нищетой пришло одиночество и отчуждение. Лицемерно жалея Марию Дмитриевну, семипалатинские дамы в душе злорадствовали. Они не могли простить ей духовного превосходства, которое невозможно было не почувствовать.

Вероятно, Достоевского особенно поразил трагический контраст между той нищетой, в которой жила Исаева, ее одиночеством и духовным богатством ее натуры. Очень быстро интерес Федора Михайловича к женщине трудной судьбы, женщине, столь не похожей на других чиновниц и офицерш маленького города, превратился в чувство исключительной силы и остроты. Это была первая настоящая любовь, так поздно пришедшая в «действительной жизни» к художнику, с огромным проникновением воссоздавшему уже в своих книгах и робкое обожание Макара Девушкина и глубочайшее чувство мечтателя «Белых ночей».

Кажется, один только раз в его молодости, наполненной мыслью и трудом, промелькнул намек на нечто подобное. Но блестящая красавица, умница, звезда литературного Петербурга, подруга Некрасова Авдотья Панаева так до конца своих долгих дней и не подозревала, как отзывалось в сердце застенчивого и мнительного самолюбивого молодого литератора ее мимолетное дружеское сочувствие.

Здесь, в Семипалатинске, все было иначе. Для Марии Дмитриевны скоро перестало быть тайной то, что испытывал к ней Достоевский. А что чувствовала к нему она?

Федор Михайлович называл ее в письмах «великодушнейшей женщиной». Нет сомнения, что вначале она приветила Достоевского просто по своей душевной доброте, увидев в нем человека еще более несчастной судьбы, чем ее. Однако сила вспыхнувшей любви Достоевского, исключительное богатство и сложность его духовного мира, которые она не могла не оценить, увлекли и ее.

Но чем сильнее разгоралась эта страсть, тем более безнадежной и лишенной будущего казалась она Марии Дмитриевне. На пути к соединению стояло два совершенно неодоли-

мых препятствия — ее замужество и бесправное положение Достоевского.

А между тем об их отношениях по Семипалатинску уже подняли сплетни и пересуды. Мария Дмитриевна делала вид, что они ее не задевают, но в действительности они глубоко ранили ее оскорблённую судьбой и потому особенно взвинченную гордость. Было бы легче, если бы сплетницы прямо осуждали ее, но в пересудах был оттенок презрительной снисходительности: конечно, при таком муже да при такой бедности и с солдатом свяжешься...

Глубоко страдал и Федор Михайлович. И его тяготила неопределенность будущего их любви. Он мучительно переживал свою вину перед Александром Ивановичем, для которого тоже не было секретом чувство Достоевского, но который никогда не поднимал речи о нем, словно бы каюая соперника великодушием. Описателю «бедных людей» хорошо было понятно это исковерканное, загнанное глубоко-глубоко внутрь и все же живое чувство собственного достоинства, не покидавшее всюду отвергнутого за пьянство маленького чиновника. Через десять лет писатель с потрясающей силой возродил давно уже к тому времени умершего Александра Ивановича в образе Мармеладова.

И все-таки Достоевский верил в счастливый исход своей запоздалой первой любви. Десятки раз, как заклинание, твердил он Марии Дмитриевне, что они еще будут счастливы. Он не плыл по течению, он строил свою судьбу.

К счастью, в это время в Семипалатинск приехал человек, который хоть несколько помог ему в этом.

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО ОДНОМУ КАРАСАКАЛУ

Звали его Александром Егоровичем Врангелем, происходил он из семьи остьзейских баронов, давно осевших в столице империи и принадлежавших к тому кругу обруслых немцев, который составлял костяк петербургской бюрократии. Они пользовались неизменным покровительством Николая, недаром столпами его царствования были такие фигуры, как Клейнмихель, Бенкendorff, Дубельт. Петербургские немцы умело поддерживали друг друга и педантично выслуживались до высоких чинов. Они искренне считали официальную формулу «православие, самодержавие, народность» глубочайшим проявлением государственной мудрости, хотя сами

Александр Егорович рассказывал о казахских обычаях, с которыми успел познакомиться сам, говорил, что к русским властям казахи испытывают просто отвращение.

— Да и что же могут испытывать туземцы,— горячился Александр Егорович,— кроме ненависти и презрения к таким, с позволения сказать, представителям власти, как начальник губернского правления господин Малосапожков, помните, Федор Михайлович, вы его еще «жареным скорпионом» прозвали. Грязен, нечесан, скуп, как Гарпагон, а взяточник откровеннейший и отчаяннейший. Соберет налог, а потом говорит: «Прибавьте верному слуге вашего царя».

Достоевский однажды сказал:

— Знаете, на одной из пятниц у Петрашевского я услышал кем-то прочитанные слова северо-американского президента Джейфферсона. Примерно они звучат так: «Я трепещу за свой народ, когда подумаю о тех несправедливостях, какие он позволял себе относительно коренных жителей». Я совсем забыл эти слова, но ваши рассказы заставили их воскреснуть в памяти. Разумеется, «жареные скорпионы» — это не русский народ, но страшно подумать, что коренные жители степи по ним могут судить о нашем народе.

Врангель с гордостью говорил о том, что он сумел завоевать в аулах уважение и получил от казахов почтительное прозвище карасакала — чернобородого. Большая черная борода действительно прежде всего бросалась в глаза на его молодом лице.

Достоевский мечтал о времени, когда сам сможет выезжать в степь. Предполагали, что летом этого можно будет добиться. Пока же друзья бывали в гостях у степняков, осевших в городе: у купца Буката Аупаева, хозяина богатого, прочно построенного дома в Татарской слободе, у торгового представителя бека ташкентского Рахимбая Атанбаева (были у него даже на свадьбе его дочери). Много интересного о жизни степи рассказывал и купец Степанов, у которого Александр Егорович снимал квартиру. Мать Степанова была казашка, она жила в доме сына. К ним часто наведывались гости из дальних аулов.

...Неспешно текла жизнь в городе на Иртыше. И порой отсюда казалось, что везде медлительно ее течение. А между тем почву Российской империи уже колебали толчки могучего землетрясения. Эпицентр его находился на известной своей сейсмопасностью крымской земле — в Севастополе.

Героизм нахимовских матросов всколыхнул всю Россию.

Подъем патриотических чувств заставлял вспоминать о двенадцатом году. Стихи, прославляющие отчество, заполнили печатные страницы, и первым среди воинственных поэтов стал старый знакомец Федора Михайловича Аполлон Майков...

Но быстро наступило отрезвление. Нет, мужество защитников Севастополя было действительно беспримерным. Но империя проигрывала войну. «Северный колосс» оказался колоссом на глиняных ногах. Банкротство терпела вся внутренняя и внешняя политика Николая Палкина. Война с потрясающей отчетливостью проявила страшную отсталость крепостнического строя. Армия пользовалась оружием более пригодным для парадов, чем для боевых действий. Патристические оды не мешали отъявленному, казнокрадству. Во всю воровали у всюду прославляемых севастопольцев, «героев-солдатиков». Одним из наиболее отчаянных хапуг оказался столп официальной литературы николаевского царствования, автор печально знаменитой драмы «Рука всевышнего отчество спасла», «русский Гете» Нестор Кукольник. «Великому тормозу», коронованному жандарму Европы, не оставалось ничего, кроме смерти. Он и умер.

Упорно и долго держались потом слухи о самоубийстве Николая. Говорили, что лейб-медик Мандт по приказу царя дал ему яд. Мандт благородно бежал за границу.

Николай I умер 18 февраля 1855 года. Три недели весть о его смерти мчалась через равнины и горы до Иртыша. Дошла она в Семипалатинск 12 марта.

В России не сомневались, что настало время перемен. На окраине империи об этом и мысли не возникало.

Врангель и Достоевский были в соборе на панихиде по «почившем в бозе» императоре. Александр Егорович с некоторым удивлением отмечал: «Настроение, правда, было серьезное, но слезы — ни одной».

КАЗАКОВ САД

Весна теплая, дружная. Лед на Иртыше прошел рано.

Начало мая — лучшее время в здешних местах: нет еще летней иссушающей жары, не метут по улицам песчаные метели.

Тихим ранним вечером сидит Достоевский на крыльце дома, где живут Исаевы. Рядом Мария Дмитриевна. В руках

и нее шитье. Возле хозяйки преданно вертит хвостом пес Сурька.

— Я говорил вам, Мария Дмитриевна, что получил письмо от молодого Якушкина?

— Нет, не говорили, Федор Михайлович.

— Да-с, от Якушкина Евгения Ивановича. Достойнейший молодой человек с благородным сердцем. Сын того Якушкина, что был на Сенатской площади четырнадцатого декабря. Судьями, говорят, признан одним из самых закоренелых... Сын был у него в Ялуторовске, передавал мне со слов отца, что когда вели приговоренных на каторгу, то начальство конвоя было очень раздражено его нераскаянным и даже веселым видом. В этом смысле и донесения направляли. Может быть, потому и супруге сего решительно отказали — единственной — на просьбу ее за мужем в Сибирь последовать. Да-с... А из Ялуторовска приехал Евгений Иванович к нам в Омск — по служебным делам он по Сибири ездил. Большую услугу он тогда мне оказал. Дал немногого денег, взял письмо к брату... Да не в том дело — душой я поднялся после встречи с ним, в том его услуга и была, а то совсем я тогда уныл. Вызывают меня в город снег чистить — посылали нас иногда, с конвойным, разумеется. Прихожу в назначенный дом, выходит молодой человек, спрашивает: «Вы Федор Михайлович Достоевский?» Ну, снег я, конечно, в тот день не чистил. Проговорили мы несколько часов кряду, и пахнуло на меня волей, жизнью, и подумалось: «Может, все же выживу». Веру в будущее поддержал во мне Евгений Иванович. Друзьями расстались. А теперь письмо прислал, прекрасное письмо, и книги... Пушкина первый том нового издания...

Много говорит сегодня Федор Михайлович, но без всякого воодушевления говорит; голос его тих и глух, а в глазах — смертная тоска. Погладил по голове Сурьку и снова повел торопливую речь — словно только для того, чтобы хоть чем-нибудь заполнить яму удивительно сегодня тягостного молчания.

— Собаки — хорошие люди, Мария Дмитриевна. С острога я привязался к собакам. Жил там у нас Шарик, собака умная и добрая. Каждую партию, что с работой идет, у ворот встречала. Вертит хвостом, вот как Сурька ваш, и в глаза всем засматривает, приветливо так — хоть какой-нибудь ласки ожидает. Но, знаете, простой народ у нас собаку считает животным нечистым, так что ни от кого, кроме меня,

ласки Шарик не дождался. Но уж меня он выделял и любил особенно. А в госпитале нашем на Скорбященской улице был пес по кличке Суанго. Он от верной смерти спас меня. Не рассказывал я вам?

— Нет, не рассказывали, Федор Михайлович.

— Лежал я в госпитале не раз, и Суанго знал меня хорошо. Ну, заболел как-то опять, положили меня, а врача нет. Один фельдшер. Очень он меня почему-то невзлюбил. Рядом со мной кровать, на которой лежит огромный такой ребенок, на лице написано — за печеную луковицу зарежет. Были у нас и такие, не много, но были. А я глупость допустил. Имелась у меня трехрублевая бумажка припрятанная. Как переодевался я в больничный халат, то не сумел ее не заметно переложить, увидел бумажку мой сосед. Отнимет, думаю, украдет иль просто силой отнимет. Однако сосед молчит. Ночью, правда, я проснулся и услышал, что с фельдшером он о чем-то шепчется, и сразу от тревоги сердце замяло. Но пошептались и разошлись... Утром приносят мне молоко — одному мне выписано было. Взял чашку в руки — вдруг неизвестно откуда вбегает Суанго, мордой выбивает из рук моих чашку и лакает пролившееся молоко. Фельдшер кричит, ругается, гонит собаку. И только выскоцил Суанго на двор, так страшно взмыл. Те, что у окон лежали, смотрят во двор, все, говорят, окочурился пес. Не иначе, как фельдшер в словоре с соседом моим из-за этих трех рублей умертвить меня хотели. Плеснул фельдшер в молоко какого-нибудь яда, а как умер бы я, выписал бы справку о естественной смерти — врача-то нет! Но Суанго разрушил преступный план!..

Недавно бы еще долго б волновалась Мария Дмитриевна, выслушав такую историю. Но сегодня она словно мимо ушей пропустила рассказ Федора Михайловича. Да и он, похоже, говорил, не задумываясь над своей мелодраматической повестью. Не до нее им сегодня обоим.

И за длинными торопливыми рассказами Достоевского и за короткими репликами Марии Дмитриевны — горе, большое горе.

Уезжают Исаевы.

Умолял Александр Иванович начальство. Дали-таки ему mestечко на службе. В крепчном Кузнецке, рядом с которым и «Семипроклятнинск» — столица. Но бедным людям не до привередств, не до выбора. Была б надежда на кусок хлеба.

На переезд денег у Исаевых не было. Заняли у Александра Егоровича Врангеля двадцать пять рублей. Кое-как расплатились со здешними долгами. Перечинила Мария Дмитриевна в дорогу всю одежду — благо труда не много. На днях — в путь.

Местечко-то Александру Ивановичу предоставили «по корчменной части» — трактирами управлять. Случайность или вспомнило в юмористическом настроении начальство о его слабости?

— Надеюсь, что хоть там-то Александр Иванович себя образит,— глухо говорит Достоевский.

— Как вы сказали? Образит?

— Словцо есть такое народное. Образить — значит восстановить в человеке образ человеческий. Долго пьянистующему говорят, укоряя: «Гы хошь бы образил себя». Слышал я это словцо от каторжных... Только б не подобрал Александр Иванович в Кузнецке вашем себе компанию вроде семипалатинской. Зачем ему сброд этот? Он же выше, благороднее...

Федор Михайлович поднимает глаза, и вдруг из груди прорывается отчаянье, которое прятал он весь вечер:

— Боже мой, голубчик, как я-то без вас?.. Ну, не буду, не буду, знаю — вам еще тяжелее...

...Наступил день отъезда. На прощанье Александр Иванович порядком-таки набрался. Заметив, как хочется Достоевскому и Марии Дмитриевне провести последний час перед разлукой вместе и как мешает им пьяный Исаев, Врангель стал усиленно уговаривать его шампанским. Скоро Александр Иванович не выдержал и свалился окончательно. Его уложили в экипаж Врангеля, а Достоевский сел рядом с Исаевой.

Провожали долго — до границы огромного бора, который тянется до самых Алтайских гор. У первой сосны Федор Михайлович и Мария Дмитриевна последний раз обнялись. Так и не проснувшегося или делавшего вид, что спит, Исаева, переложили из одного экипажа в другой. Лошади тронулись, зазвенел колокольчик.

Достоевский стоял смертельно бледный, не отрывал взгляда от удалявшегося тарантаса.

— Идемте, Федор Михайлович, пора,— тронул его рукав Врангель.

— Подождите. Еще видно.

Скрылся тарантас в лесу.

— Идемте, Федор Михайлович.

— Подождите. Слышно пока.

Наконец растаяли и отзвуки дальнего топота. Тишина.

— Идемте, Федор Михайлович.

— Идемте.

Шли пешком, Врангель держал повод лошади в руке. Слезы текли по худому лицу Достоевского, хотя он поминутно вытирали их. Молчали — Александр Иванович понимал: утешать бесполезно.

У ворот хутора судьи Пошеконова, откуда выехали и где решили заночевать, Федор Михайлович остановился и сказал строго и безнадежно:

— Осиротел я. Совершенно осиротел.

...Он был выбит из колеи и долго не мог прийти в себя. Хандрил, сутками молчал. Часто ходил к домику Исаевых, задумчиво гладил визгливо жаловавшегося на одиночество Сурьку. Знакомому пес радовался, но уходить со двора не хотел — ждал хозяев.

Разыскал Федор Михайлович даже какую-то гадалку, но смутные слова ее облегчения не принесли. К перу не прискасался — а весной с большим жаром начал описывать типы каторжников. Теперь работа замерла.

Врангель видел, что его старшего друга надо как-то отвлечь, что нельзя Федора Михайловича дальше оставлять наедине с тоской. Он предложил Достоевскому переехать к нему за город — Александр Егорович снял на лето дом в Казаковом саду, единственном зеленом уголке в окрестностях Семипалатинска.

Батальонное начальство не возражало. От места фронтовых учений Казаков сад был недалеко. Фельдфебель роты получил приказ надзирать за тем, как проводит свободное время рядовой Достоевский, но одновременно с приказом получил от барона некоторую мзду и потому приятелям не докучал.

Друзья начали устраиваться на своей даче. На работу по хозяйству уходили все вечера. Дом — Врангель прозвал его «палаццо» — был старый. В самой большой комнате провалился пол; в провале росли странные огромные грибы. Мебели никакой, стали сами сооружать столы и стулья из досок, пустых бочонков.

Посыпали дорожки речным песком, принялись копать землю под гряды и клумбы. Врангелю прислали семена, и друзья усиленно занялись цветоводством — в Семипалатин-

торжество темные чувства, злоба к людям чужого языка, иного образа жизни. Такие «игры» были школой для воспитания будущих «усмирителей» Польши, участников колонизаторских покоров царизма.

Во второй половине лета Федор Михайлович предпринял еще одну попытку, свидеться с Исаевой. На этот раз он получил официальное разрешение на поездку в Змеиногорск. Слуга Врангеля молчаливый финн Адам, неплохой портной, сшил Достоевскому для поездки «партикулярное» платье — первую штатскую одежду, которую писатель надел после шести лет, проведенных в арестантской двухцветной куртке и солдатском мундире. Врангель, конечно, и на сей раз сопровождал друга.

В этот присезд приятели прожили в «Змиеве» целых пять дней и успели осмотреться в нем. Город у самого древнего в Сибири рудника, открытого еще Никитой Демидовым, был чуть не вдвое больше Семипалатинска и со своими многочисленными каменными зданиями выглядел куда благоустроеннее центра области. Да и змеиногорское «общество», ядро которого составляли горные инженеры, было значительно культурнее семипалатинского. Друзей принимали исключительно радушно. Квартиру отвели им у богатого купца, но там они только ночевали, а днем и вечером их возили то на обед, то на пикник в бор, то на танцы. Управляющего заводом полковника Полетики слушали хороший хор, составленный из служащих завода. Достоевский, щеголявший в сюртуке, сшитом Адамом, в серых брюках, заимствованных у Врангеля, черном атласном галстуке и высоком крахмальном воротничке, углы которого доходили до ушей, несколько оттаял, охотно разговаривал с новыми знакомыми и даже танцевал с змеиногорскими дамами. Но когда поздно вечером приятели возвращались в дом купца, Федором Михайловичем овладевало отчаяние, и он, как всегда в минуты сильного волнения, свирепо теребил волосы на висках.

Исаева все не ехала. Достоевский ждал ее до последнего дня. Даже отказался ехать на экскурсию, устроенную любезными хозяевами, на недалнее Колыванское озеро, которое, по словам Александра Егоровича, сам великий Гумбольдт нашел красивейшим в мире.

На этот раз Мария Дмитриевна не прислала даже записки. Достоевский вернулся в Семипалатинск крайне подавленным. Он изливал свою душу в письмах, адресованных в

Кузнецк. Он писал Исаевой, что чувствует себя таким же одиноким, как в первые дни ареста, яростно честил «поганое» семипалатинское общество, не оценившее благородства ее и честности, перекладывал на него вину за отъезд Марии Дмитриевны.

Недолгая «идиллия» в Казаковом саду кончилась — вскоре после возвращения из Эмиева Врангель отправился в двухмесячную служебную командировку по области: в Усть-Каменогорск, Бухтарму, Локтев. Он слал приятелю бодрые и самодовольные письма, хвастаясь числом верст, которые успел проехать.

Но Достоевскому было не до дорожных впечатлений прокурора — из Кузнецка он получил трагическую весть: после короткой болезни Исаев скончался. Последние дни «бедного Иова», как он сам себя называл, были ужасны: даже нестерпимую физическую боль заглушали страшные мысли о судьбе семьи. Без конца повторял он Марии Дмитриевне: «Что будет с тобою, что будет с тобою!» Эта навязчивая мысль жгла его до самой агонии. И действительно, положение вдовы оказалось совершенно безвыходным: у нее не было буквально ничего, кроме старого платья на себе и ребенка и долгов в лавке. Хоронить мужа было не на что. Кто-то из сердобольных кузнецких чиновников прислал ей три рубля, и Исаева эти три рубля взяла, потому что негде было достать куска хлеба для сына. «Нужда руку толкала принять,— писала она Федору Михайловичу,— и приняла... подаяние!» Как мучился, переживал унижение любимой женщины Достоевский! Никогда не мог он забыть об этих трех рублях и десять лет спустя, создавая «Преступление и наказание», ввел их в рассказ о последнем дне «заезженной» свирепой жизнью Катерины Ивановны.

У самого Федора Михайловича в это время не было ни полушки, он не мог даже переслать в Петербург письма Врангеля — нечем было оплатить почтовый сбор. Пришлось, чтобы оказать хоть самую скромную помощь, обращаться к Александру Егоровичу. Достоевский просит Врангеля послать в Кузнецк пятьдесят рублей и считать их вместе с прежними двадцатью пятью, занятыми на дорогу Исаевых в Кузнецк, его, Достоевского, долгом («Я вам отдам непременно, но не скоро»). Он умоляет своего друга проявить при посылке денег предельную деликатность, чтобы не задеть невзначай еще раз бедную женщину: «Я очень хорошо знаю, что вы понимаете, как должно обходиться с человеком, ко-

да! Я всегда был истинно русский — говорю вам откровенно... Да! Равделяю с вами идею, что Европу и назначение ее окончит Россия».

Достоевский восхищается строками из «Клермонтского собора» своего друга-поэта, выражающего ту же мистическую веру, в особую историческую миссию русского народа:

И, может быть, враги предвидят,
Что из России ледяной
Еще не виданное выйдет
Гигантов племя к лицам грозой,
Гигантов — с ненасытной жаждой
Бессмертия, славы и добра,
Гигантов — как их мир однажды
Зрел в грозном образе Петра.

Прошли десятилетия, и русский пролетариат, возглавляемый партией большевиков, сыграл всемирно-историческую роль, показав трудящимся всех стран путь к подлинному освобождению... Но это произошло потому, что Россия угнетенных, вопреки стремлениям Достоевского, прошла путем революции и претворила в жизнь высочайшее достижение человеческого разума — научный социализм.

ГРОЗНОЕ ЧУВСТВО

В самом начале 1856 года произошли два события: Достоевский был произведен в унтер-сфицеры; Врангель на-всегда уехал из Семипалатинска. Первое из них, разумеется, обрадовало Федора Михайловича, однако переоценивать его было нельзя: унтер-офицерство имело значение лишь как шаг на пути к офицерскому чину, правового же положения Достоевского сно никак не мысляло. Разлука же с другом, естественно, сгорчила Федора Михайловича, но горечь смягчалась надеждой, что в Петербурге бывшему семипалатинскому прокурору, возможно, удастся через влиятельных знакомых как-то улучшить участь своего старшего товарища. Кроме того чувство Достоевского к Исаевой в это время настолько поглотило его, настолько измучило, что тут уже мало могло помочь чье бы то ни было дружеское утешение.

Вести из Кузнецка шли самые тревожные. Мария Дмитриевна устала от бесконечной борьбы с нищетой, теряла надежду, что ей удастся когда-нибудь соединить судьбу с Достоевским. Единственным выходом ей представлялось новое

замужество в Кузнецке. Она осторожно спрашивает совета у Достоевского, как ей поступить в случае, если будет к ней свататься пожилой обеспеченный человек.

Говоря о своем предполагаемом женихе, Исаева была намеренно неточна, но Федор Михайлович ей поверил и пришел в отчаянье, представив в качестве будущего мужа своей любимой этакого таежного медведя, богача, «который, может быть, про себя и побои считает законным делом в браке». «Она в положении моей героини в «Бедных людях», которая выходит за Быкова (напророчил же я тебе!)».

Но создатель Девушкина совсем не походил на своего героя, и его «страшное, грозное чувство» ничем не напоминает безнадежного обожания Макара Алексеевича. Достоевский не собирается сдаваться: «Отказаться мне от нее невозможно никак, ни в каком случае. Любовь в мои лета не блажь, она продолжается 2 года, слышите, 2 года, в 10 месяцев разлуки она не только не слабела, но дошла до нелепости». И он уверен: «Само собой разумеется, что, если бы уладились дела мои, то я был бы предпочтен всем и каждому».

Через несколько месяцев Федор Михайлович убедился, что аналогии с ситуацией из «Бедных людей» в Кузнецке вообще нет: добрый, но предельно бесцветный уездный учитель Вергунов совершенно не походил на грубого и сильного «господина Быкова». Он был значительно моложе и духовно слабее Марии Дмитриевны. Не имелось у него и быковского богатства: брак с ним был бы для Исаевой лишь переходом от отчаянной нищеты к бедности, еле сводящей концы с концами.

Драма была в том, что Достоевский не мог предложить ей и этого.

И Федор Михайлович с невероятной энергией предпринимает новые решительные попытки «уладить» свои запутанные дела.

Некоторые надежды си взвешивали на предстоящую амнистию, которой по традиции отмечалась коронация нового императора. Однако Достоевский на сей счет не особенно обольщался и оказался прав: Александр II решился вернуть из Сибири состарившихся на каторге и в ссылке декабристов, но «политических преступников» следующих поколений амнистия почти не коснулась. Предчувствуя это, Федор Михайлович решается на «сбходной маневр».

С первым же письмом Врангелю в Петербург (тем самым, где он вспоминает финал «Бедных людей») Достоев-

...Звание писателя я всегда считал благороднейшим, полезнейшим званием. Есть у меня убеждение, что только на этом пути я мог бы истинно быть полезным...».

После ходатайства за ссыльного писателя на личной аудиенции у императора Тотлебен собственноручно записал царскую резолюцию: «Его величество приказать изволил написать представление в форме записки к г. военному министру, ходатайство о производстве Федора Достоевского в прапорщики в один из полков 2-й армии. Если же это признано будет неудобным, то с чином 14-го класса увслить его для определения к статским делам, в обоих случаях дозволить ему литературные занятия с правом печатания на узаконенных основаниях».

Это было именно то, чего добивался Достоевский. Но Александр II с иезуитством, достойным его отца, тут же ликвидировал свое разрешение, приказав установить за писателем тайный надзор до полного убеждения в его «благонадежности» и лишь тогда ходатайствовать о разрешении ему печатать свои труды. Это означало, что вопрос о печатании сссчинений писателя откладывается на неопределенное время.

Вопрос же о производстве Достоевского в офицеры попал в громоздкий механизм бюрократической машины самодержавия и месяцы переползл с одного департаментского конвойера на другой.

Федор Михайлович Достоевский был живым человеком — умным, страстным, сильным, но отнюдь не маньяком. Беспокойство за судьбу своих хлопст о будущем, «грозное чувство» к Исаевой, где надежда чередовалась с отчаянием, бесконечно волновали его, несли бессонные ночи. Но не нужно даже в эти исключительно тревожные месяцы представлять его угрюмо сосредоточенным на одном. И тогда у него бывали радостные или во всяком случае спокойные часы. По праздникам он бывал в гостях, даже танцевал (о чем семипалатинские дамы-сплетницы поспешили донести Исаевой; Исаева оскорбилась). Он поселился на одной квартире с образованным сфицером А. И. Бахиревым, читал журналы, которые получал Бахирев. Писал, насколько позволяло время, набрасывая и «Записки из Мертвого дома», и теоретическую статью об искусстве, и роман.

Но, естественно, главными для Достоевского в те месяцы оказывались мысли о Марии Дмитриевне, опасения, что «гадость Кузнецкая ее замучает». Увидеть Исаеву, понять, как и чем она сейчас живет, стало необходимостью. И Федор

Михайлович вновь идет на весьма рискованный шаг. Направленный по служебной командировке в Барнаул, Достоевский самовольно приезжает в Кузнецк и после тринадцати месяцев разлуки встречается с любимой женщиной. Радости, однако, эта встреча не принесла. Вернувшись в Семипалатинск, Федор Михайлович так рассказывал о ней Врангелю:

«Я был там, добрый друг мой, я видел ее! Как это случилось, до сих пор понять не могу! У меня был вид на Барнаул, а в Кузнецк я рискнул, но был!.. Она плакала, целовала мои руки, но она любит другого. Я там провел два дня. В эти два дня она вспомнила прошлое, и ее сердце опять обратилось ко мне...

Она мне сказала: «Не плачь, не грусти, не все еще решено; ты и я, и более никто!» ...К концу второго дня я уехал с полной надеждой. Но вполне вероятная вещь, что отсутствующие все же виноваты. Так и случилось! Письмо за письмом, и опять я вижу, что она тоскует, плачет и опять любит его более меня!»

Трудно, конечно, теперь, через век, точно сказать, была ли эта, вторая, любовь. Автор книжки «Достоевский в изображении его дочери Л. Достоевской» приписывает вдове маленького чиновника чуть не демоническую страсть к «красавцу учителю». Л. Ф. Достоевская объясняет эту страсть «африканским происхождением» Исаевой, которую далее, увлекаясь, уже попросту называет «негритянкой». Но думается, что эти африканские страсти в алтайском уездном городишке не более чем миф. Учитель Вергунов был, по словам Врангеля, «личностью вполне бесцветной» и, если говорить только о чувствах, соперником Федору Михайловичу не являлся. Суть-то выражена в словах Достоевского «отсутствующие виноваты». Одинокой женщине просто не на кого было опереться в своей кузнецкой нищете.

Но вполне вероятно, что Мария Дмитриевна, воспитанная на романтических повестях Марлинского, невольно несколько «марлинизировала» положение и даже себе, не только Федору Михайловичу, внушила мысль о женском сердце, разрываемом чувством пополам,— трудно ведь даже себе признаться, что выбор всего будущего решается вопросом об обеспеченном куске хлеба. Во всяком случае, возможность брака с Вергуновым Марией Дмитриевной не исключалась, и это-то и страшило Достоевского — не только за себя, но и в еще большей степени за любимую женщину: «Ей 29 лет; она образованная, умница, видевшая свет, знающая людей,

страдавшая, мучившаяся, больная от последних лет ее жизни в Сибири, ищущая счастья, и она — готова выйти замуж теперь за юношу 24 лет, сибиряка, ничего не видевшего, чуть-чуть образованного... Как сойтись в жизни с разными взглядами на жизнь, с разными потребностями?.. Будь он хоть раз идеальный юноша, но он все-таки еще не крепкий человек. А он не только не идеальный, но... Все может быть впоследствии. Что если он оскорбит ее подлым упреком, что она рассчитывала на его юношескую чистоту, что она хотела сладострастно заесть его век, и ей, ей, чистому, прекрасному ангелу, это, может быть, придется выслушать! ...Что-нибудь подобное да случится непременно. ...Я написал письмо длинное сму и ей вместе. Я представил все, что может произойти от неравного брака. ...Она отвечала, горячо его защищая, как будто я на него нападал. А он истинно по-кузнецки и глупо принял себе за личность и за оскорблению — дружескую, братскую просьбу мою (ибо он сам просил у меня и дружбы и братства) подумать о том, чего он добивается, не сгубит ли он женщину для своего счастья; ибо ему, 24 года, а ей 29, у него нет денег, определенного в будущности и вечный Кузнецк».

Вергунов написал Федору Михайловичу «ответ ругательный». Несмотря на это Достоевский просит Врангеля («ради бога, ради света небесного») похлопотать об уездном учителе у Гасфорта (Александр Егорович собирался в Омск). «Хватите его на чем свет стоит» — для того, чтобы выхлопотать ему более обеспеченное место.

Эту просьбу нужно оценить правильно, иначе мы не поймем Достоевского, выдумаем ему фантастический характер.

Достоевский тут вовсе не отрекается от своего чувства, не собирается отступать от борьбы за него, не жертвует собой ради соперника (которого он, вдобавок, не считает достойным любимой женщины). Но если все же выбор будет сделан не в его пользу, Федор Михайлович находит необходимым добиться для Марии Дмитриевны хотя бы материального благополучия: «Она не должна страдать. Если уж выйдет за него, то пусть хоть бы деньги были. А для того ему надо место, перетащить его куда-нибудь... Хоть бы в бедности она не была, вот что!»

Здесь нет юродства, нет всепрощения. С соперником Федор Михайлович целоваться не собирается, напротив, говорит о нем с еле сдерживаемой злостью. Но он не переносит сбоя на женщину, которую любит.

Кроме перевода Вергунова Федор Михайлович хлопочет о выплате Марии Дмитриевне причитавшегося ей после смерти мужа, но почему-то задержанного единовременного пособия в 285 рублей серебром: «Брак потребует издержек, от которых они оба года два не поправятся! И вот опять для нее бедность, опять страдание». Достоевский боится, «чтобы она, не дождавшись этих денег, не вышла замуж», так как после нового замужества Исаева лишилась бы права на пособие.

Но после свидания в Кузнецке Мария Дмитриевна решила не спешить с выбором будущего. К этому времени ее положение несколько улучшилось: в семье окружного исправника Ивана Мироновича Катанаева она нашла людей, искренне к ней расположенных и готовых поддержать. Теперь она уже не так остро чувствовала свое одиночество в алтайском городке.

А в Семипалатинск 5 августа прибыл магистр ботаники Петр Семенов, молодой петербургский ученый, отправлявшийся в большое путешествие к неизведанным «Небесным горам» и берегам Иссык-Куля. В городе на Иртыше ему предстояло пробыть только сутки. Он представился губернатору, потом адъютант губернатора Василий Демчинский отвел его на свою квартиру. Пройдя в комнату хозяина, магистр ботаники увидел ожидавшего его худого человека в мундире унтер-офицера. Лицо его показалось Семенову странно знакомым: Секунду он простоял, не веря своим глазам, потом бросился к унтер-офицеру и обнял его.

Достоевский и Семенов были знакомы с молодых лет. Позже они встречались и у Петрашевского, хотя молодой учный и не был активным участником общества. Особой близости, однако, между ними раньше не было, но встреча в Семипалатинске вышла неожиданно горячей. Психологически это понятно: для Федора Михайловича Семенов был первым знакомым из столицы, увиденным за семь лет, а магистр ботаники ничего не знал о судьбе автора «Бедных людей» после Семеновского плаца, и для него Достоевский словно воскрес из мертвых. Эта встреча превратила хороших знакомых в близких друзей.

Остаток вечера прошел в торопливых, сбивчивых и все же крайне интересных для обоих разговорах. Семенов спрашивал Федора Михайловича о годах каторги и солдатчины, о его планах и надеждах. Достоевский рассказывал о пережитом с полной откровенностью, упомянул, что на-

Подходят лодки к Полковничьему острову...

Как ни медленно скрипела бюрократическая машина Российской империи, но 30 октября Гасфорд получил из Петербурга «высочайший приказ», коим Федор Достоевский производился в прапорщики.

Через несколько дней узнали об этом и в Семипалатинске.

Радость Федора Михайловича была неполной, потому что он не знал, разрешено ли ему печататься. Он справедливо предполагал худшее и горько сетовал в письме к Врангелю: «Ведь это средство к существованию моему и карьере, потому что я уверен в себе и надеюсь быть известным и составить себе значение, участь, обратить на себя внимание, наконец». Без этого он видит единственный смысл производства в том, что оно делает возможным брак с Исаевой: «Производство в офицеры если обрадовало меня, так именно потому, что, может быть, удастся поскорее увидеть ее». И буквально через две недели он отправляется в Кузнецк — на этот раз уже с официального разрешения.

Здесь было новое и решительное объяснение с Марией Дмитриевной, объяснение с Вергуновым, которого Федор Михайлович, вернувшись домой, всячески расхвалил в письме к Врангелю, хотя превозносить его, собственно, было не за что: молодому учителю ничего другого не оставалось, как потихоньку стушеваться.

Все было решено. Дело оставалось за малым — за деньгами. Их же совсем не было ни у Исаевой ни у Федора Михайловича. Ему не на что было экипироваться после производства в офицеры, выручил вечный Врангель, приславший каску, полусаблю и офицерский шарф.

Нехватка денег преследовала Достоевского всю жизнь. Но, вероятно, никогда он так остро не ощущал ее, как в декабре пятьдесят шестого года. Однако Федор Михайлович жил в эти дни на таком душевном подъеме, что препятствий для него не существовало. В Семипалатинске ему удается занять весьма солидную сумму, в шестьсот рублей серебром у горного инженера Ковригина, исследователя недр Баян-Аула и Каркаралов, спутника Чокана в путешествии 1856 года. Но и этих денег едва могло хватить на дорогу в оба конца, оплату свадебных обрядов да на возвращение долгов Марии Дмитриевны. А требовалась и квартира, и одежда, и хотя бы самая скромная меблировка. Приходилось просить у родственников. В основном Федор Михайлович рассчитывал на

ученый, в самом лучшем расположении духа и был проникнут твердой верой в счастливое будущее.

Эта встреча знаменательна тем, что во время ее Достоевский впервые «опробовал» на слушателе начатые им «Записки из Мертвого дома». Семенов был потрясен силой и правдой нарисованных его другом картин катарги, психологической глубиной выведенных автором характеров. Петр Петрович любил первые повести Достоевского, но сразу почувствовал, что в новом своем создании писатель поднялся на более высокую ступень искусства.

Из Барнаула через станции Повялихинскую, Богатскую, Карайгалинскую Федор Михайлович помчался в Кузнецк.

* * *

«Обыск брачный № 17.

1857-го года февраля 6-го дня. По Указу Его Императорского Величества Одигитриевской церкви священно- и церковнослужители произвели обыск о желающих вступить в брак и оказалось следующее:

1) Жених. Служащий в Сибирском линейном батальоне № 7 прапорщик Федор Михайлович Достоевский, православного вероисповедания, живет в Семипалатинске в приходе Богоявленской церкви.

2) Невеста. Мария Дмитриевна, жена умершего заседателя, служащего по корчемной части, коллежского секретаря Александра Исаева, православного вероисповедования, жила в Кузнецке в приходе Одигитриевской церкви.

3) Возраст к супружеству имеют совершенный и именно — жених тридцать четырех лет, а невеста двадцати девяти лет, и оба находятся в здравом уме.

4) Родства между ними духовного или плотского родства и свойства, возбраняющего по установлениям св. Церкви брак, никакого нет.

5) Жених холост, а невеста вдова после первого брака.

6) К бракосочетанию приступают они по своему взаимному согласию и желанию, а не по принуждению, как жених, так и невеста родителей в живых не имеют.

7) По троекратному оглашению, сделанному в означенной церкви, препятствий к сему браку никакого никем не съявлено.

8) Для удовлетворения беспрепятственности сего брака

представляются письменные документы: дозволение жениху от командира Сибирского линейного батальона № 7 от 1 февраля сего года за № 167-м.

9) Посему, бракосочетание означенных лиц предложено совершить в вышеупомянутой Одигитриевской церкви сего месяца 6 дня в указанное время, при посторонних свидетелях.

10) Что все показанное здесь о женихе и невесте справедливо, в том удостоверяют своею подписью как они сами, так и по каждом поручатели, с тем, что если что окажется ложным, то подпавшие повинны за то суду по правилам церковным и законам гражданским.

Жених, служащий в Сибирском линейном № 7 батальоне прапорщик Федор Михайлович Достоевский.

Невеста, вдона коллежского секретаря Мария Дмитриевна Исаева.

Поручатель по невесте коллежский асессор Иван Миронов Катаев.

Поручатель по женихе чиновник таможенного ведомства Петр Сапожников.

Поручатель по женихе чиновник Кузнецкого училища учитель Николай Вергунов.

По невесте поручатель волости Нелюбинской государственный крестьянин Михаил Дмитриев Дмитриев же.

Обыск производили сей же церкви:

Священник Евгений Тюменцев.

Диакон Петр Лашков.

Дьячок Петр Углынский.

Попомарь Иван Слободской».

В список «поручателей» попали чуть не все немногочисленные кузнецкие знакомые Исаевой, в том числе и неудачливый соперник Федора Михайловича Вергунов.

Заботы по устройству свадьбы взяла на себя жена исправника Анна Николаевна Катаева, очень расположенная к Марии Дмитриевне. Благодаря ее хлопотам (да и не только хлопотам — Анна Николаевна приняла на себя и значительную часть расходов) церемония получилась весьма пышной. В церковь съехался чуть не весь Кузнецк, а праздничный стол отличался исключительным изобилием даже по масштабам сибирского хлебосольства.

Короткие дни, пропеденные молодоженами в Кузнецке до отъезда, принадлежат к немногим безоблачно светлым в жизни Достоевского. Федор Михайлович был спокойно счастлив, угрюмость и хмурость его словно испарились; кузнец-

кое «общество» было им очаровано. Он постоянно бывал с женой на вечерах, много танцевал (танцором он был превосходным), шутил, охотно играл в карты по маленькой. Днем возился с Пашей Исаевым, который заметно подрос и превратился в изрядного озорника. Много гулял с Марией Дмитриевной по городским улицам, накинув военный плащ, и никак не мог с ней наговориться.

На обратном пути было решено погостить у Семенова. В дороге Федор Михайлович рассказывал жене о своем друге, о старожилах Барнаула, с которыми успел познакомиться, обещал сводить в театр, где ставились недурные любительские спектакли — на них блистали горные инженеры Самойловы, братья знаменитой актрисы Александрины.

Но в жизни писателя за светлым всегда шло черное.

Праздник кончился в Кузнецке. В Барнауле стало не до театра.

Там Достоевского свалил сильнейший припадок. Несколько дней после него Федор Михайлович находился в почти полной прострации. Врач констатировал несомненную эпилепсию, сказал, что припадки, безусловно, повторятся, и если не будет предпринято самое энергичное лечение, то один из них может кончиться смертью больного от горловой спазмы. И тут же добавил, что в Сибири о сколько-нибудь эффективном лечении не может быть и речи.

Испуганная и подавленная Мария Дмитриевна не отходила от постели больного мужа. Уехали в Семипалатинск тотчас же, как только Федор Михайлович смог встать.

ЗАБОТЫ СЕГОДНЯШНИЕ И ЗАВТРАШНИЕ

Некоторые биографы Достоевского именно этому злосчастному припадку приписывали чуть ли не роковое значение, им объясняли то, что брак писателя, которого он с таким железным упорством добивался, очень скоро оказался несчастливым. Дескать, Мария Дмитриевна была настолько напугана болезнью мужа, что испуг убил в ней всякое чувство к нему, и от супружества она уже не ждала ничего хорошего. Порой к этому прибавляется и такой, весьма романтический, мотив: Достоевский, мол, узнав, как тяжко он болен, сознательно решил отдалить жену от себя, чтобы его возможная смерть не принесла ей особенной боли.

Эти версии не учитывают того хорошо известного каче-

ства человеческой натуры, которое Федор Михайлович называл приживчивостью, того здорового инстинкта жизни, что не позволяет человеку сосредоточивать внимания на несчастьях и болезнях, если они не угрожают немедленной смертью. Духовая травма, несомненно, перенесенная Достоевским после припадка, скоро более или менее зарубцевалась, да и здоровье — особенно после двухмесячного стыха в форпосте Озерном, недалеко от Семипалатинска — значительно окрепло. Надо сказать, что со временем Федор Михайлович научился смотреть на свою неизлечимую болезнь, как на неизбежное зло, на которое нужно по возможности не обращать внимания. В отличие от многих эpileптиков он не стыдился болезни, не скрывал ее, но и не искал с ней. Каждый припадок причинял ему страшные страдания, на несколько дней выводил из рабочего состояния, но, когда болезнь отступала, Достоевский, сильный человек, умел заставить себя забыть о ней до следующего приступа.

Нет у нас и никаких оснований думать, что Мария Дмитриевна приняла болезнь мужа чересчур трагически. Конечно, в Барнауле сна была потрясена, однако это вовсе не заческинуло ее любовь. На будущее она смотрела отнюдь не безнадежным взглядом. Об этом лучше всего свидетельствует ее письмо сестре В. Д. Констант, написанное вскоре после приезда в Семипалатинск: «Я не только любима и балуема своим умным, добрым, влюбленным в меня мужем, — даже уважаю и его родными. Письма их так милы и приветливы, что, право, сильное стало для меня трин-травою. Столько я получила подарков, и все один другого лучше». Можно сомневаться в искренности «приветливости» родных Федора Михайловича, так противившихся его браку, но что Мария Дмитриевна пишет искренне — это, видимо, несомненно.

Но тем не менее факт остается фактом — размолви и разлад в семейной жизни молодоженов начались весьма скоро и так никогда и не сладились. Уже через несколько месяцев Достоевский пишет той же В. Д. Констант очень мрачные строки: «Знаете ли, у меня есть какой-то предрассудок, предчувствие, что я скоро должен умереть. Такие предчувствия бывают почти всегда от мнительности; но уверяю Вас, что я в этом случае совершил не мнитель и уверенность моя в близкой смерти совершенно хладнокровная. Мне кажется, что я уже все прожил на свете и что более ничего и не будет, к чему можно стремиться».

Странно, что никто, кажется, из писавших о первом браке Достоевского, не указал на истинные причины того, почему он оказался неудачным. Федор Михайлович — и в этом, может быть, ярче всего проявились те его мещанские черты, всосанные с материнским молоком, о которых говорила Штакеншнейдер и которые в сфере мысли и творчества совершенно подавлялись глубиной его гения,— равенства в семье не признавал. Рыцарское преклонение перед любимой женщиной парадоксально сочеталось у Достоевского с требованием безусловного духовного подчинения женщины ему, даже растворения, так сказать, ее личности в нем. В многочисленных своих позднейших выпадах против женской «эмансипации», духовной самостоятельности женщины писатель теряет даже остроумие, которое вообще-то отличает его полемическую борьбу против враждебных ему взглядов даже когда он явно несправедлив.

Ведь второе супружество Федора Михайловича потому и оказалось счастливым, что Анна Григорьевна Сниткина очень охотно «растворилась» в заботах о муже и семье, от всяких самостоятельных взглядов начисто отказалась и в конце концов, по чьему-то остроумному замечанию, «превратилась в контуру, по изданию сочинений Достоевского».

Когда же Федор Михайлович встречал женщину иного душевного склада, происходила драма. Так позже было с Аполлинарией Сусловой, так было и с Исаевой.

Мария Дмитриевна к «кроткому» типу никак не относилась. Она и по характеру была человеком сильным, гордым, а тяжелая жизнь приучила ее особенно и даже навязчиво подчеркивать свою самостоятельность. «Растворяться» даже в человеке, которого она искренне любила, она не могла. И когда Достоевский убедился в этом, он нагло отгородил ее от главного в себе — от своей духовной, творческой жизни.

Будь Мария Дмитриевна просто недалекой и малообразованной провинциалкой (образ, создавшийся в воображении второй жены Достоевского), она бы просто не заметила этого. Будь ее духовный мир хоть как-то сопоставлен интеллекту писателя, может быть, ей хватило бы силы войти в грандиозный творческий мир писателя. Этого не произошло. И в то же время Мария Дмитриевна была достаточно умна, чтобы понимать, что мир этот огромен, что для ее мужа он главный и что ей входа в него нет. И здесь источник муче-

ний Марии Дмитриевны, порой страшно ожесточавших ее против мужа.

И все-таки после смерти Марии Дмитриевны он вспоминал о ней с пронзительной болью, горчайшим сожалением о том, что так страшно исковеркало себя сильное и глубокое чувство: «Другое существо, любившее меня и которое я любил без меры,— пишет Достоевский старому другу Врангелю,— жена моя, умерла в Москве, куда переехала за год до смерти своей, от чахотки. О друг мой, она любила меня беспредельно, и я любил ее тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо... Несмотря на то, что мы были с ней положительно несчастны вместе... мы не могли перестать любить друг друга: даже, чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу... Когда она умерла — я хоть мучился, видя (весь год), как сна умирает, хоть и ценил и мучительно чувствовал, что хороню с нею,— но никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в мсей жизни, когда се засыпали землею».

Однако далеко пока до этого трагического письма.

Как бы ни отличалась реальная семейная жизнь Федора Михайловича от той идеальной, которую он представлял себе до женитьбы, быт его все же вошел в определенную и с течением времени устоявшуюся колею. Сравнительно спокойный «тимпоритм» последних семипалатинских лет Достоевского заметно отличается от судорожного первых. Эти годы почти лишены внешних драматических моментов. Писатель наконец получает возможность отдавать свои силы преимущественно главному делу жизни — литературному творчеству.

Молодожены сняли под квартиру второй этаж небольшого дома почтальона Липухина на Крепостной улице. В трех очень скромно меблированных комнатах Достоевский теперь проводил почти все свободные от службы часы. Внизу кроме хозяев жил денщик пропорщика Достоевского Василий, немолодой и рассудительный человек, которого Федор Михайлович полюбил и который сам очень привязался к писателю.

Хорошие отношения установились у Достоевских и с хозяевами дома. Вскоре Липухин помог Федору Михайловичу и Марии Дмитриевне в одном немаловажном деле. Нужно было определить на учение Пашу Исаева, который рос мальчиком добрым, неглупым, привязчивым, но довольно распущенными: отчим с тревогой видел в нем задатки

безалаберности, искорежившей жизнь Александра Ивановича. В Кузнецке ребенок почти не учился, негде ему было получить образование и в Семипалатинске. Достоевский решил поместить Пашу в Омский кадетский корпус — в те годы действительно едва ли не лучшее учебное заведение в Сибири. Достоевский был знаком с инспектором корпуса Ждан-Пушкиным, помогавшим писателю еще в острожный его период. Ждан-Пушкин знал и Александра Исаева, и хлопоты об определении Паши увенчались успехом. Но мальчица надо было еще доставить в Омск. За это и взялся охотно семипалатинский почтальон, часто ездивший в центр края. Перед одной из его служебных поездок мать и отчим простились с Пашей.

Федор Михайлович рассчитывал, что его пребывание в Сибири теперь не задержится, и вроде бы имел на это основание: летом 1857 года ему были возвращены дворянские права. Об этом знали люди, интересовавшиеся судьбой писателя-изгнанника. Герцен сообщал из Лондона Н. М. Щепкину, сыну великого актера: «Спешнев и Достоевский прощены». Но и «прощенный» Федор Михайлович пока не имеет еще права оставить службу, покинуть Сибирь. Надежда вновь — в который уже раз — сменяется разочарованием, и Достоевский подумывает о том, не начать ли искать в здешних краях какую-нибудь доходную частную службу — например, у золотопромышленников.

Бедность продолжалась. Федор Михайлович благодарит брата Михаила за присланные фрак и брюки, но жалеет, что прислан фрак, а не сюртук — сюртук практичнее, он необходим, а денег на то, чтобы сшить его в Семипалатинске, сразу не наберешь. Писатель надеется на будущие литературные заработки («Я могу заработать без труда большого несравненно больше шестисот рублей в год»), но вопрос о разрешении печататься все еще не совсем ясен. Правда, в августовской книжке «Отечественных записок» за 1857 год появляется неожиданно для автора его «Детская сказка», написанная восемь лет назад в Алексеевском равелине и тогда же переданная Краевскому. Но появилась она под измененным названием «Маленький герой» и подписана псевдонимом «М-ий». И вследствие несочувствие к так много перенесшему писателю заставило издателя-коммерсанта Краевского опубликовать этот рассказ при первой возможности: просто си помнит, что Достоевский с докаторских времен должен ему некоторую сумму, и долга списывать не собирается.

...А вот Федор Михайлович не слит. Тихонько бродит по комнате, курит. За последнее время сдружился он с бесконницей. Еще в пятьдесят седьмом твердо надеялся он быть в Москве, даже газет по этому случаю не выписал, но и пятьдесят седьмой прошел, и пятьдесят восьмой, и пятьдесят девятый идет, а он все в Семипалатинске, словно заколдованный этим городом и стал Йртыш магической чертой, через которую умри — не переступиши.

И оттого, должно быть, становится противен город, где ведь, что ни говори, и хорошего было немало, и кажется он пустым. Ни одной симпатичной личности не осталось: храброго вояку Хоментовского за отсутствие особого почтения ко всякому начальству отправили аж во Владимир на столь странную для старого рубаки должность провиантмейстера (через несколько месяцев Федор Михайлович встретится со старым приятелем во Владимире и выпьет с ним доброй вишневой настойки), Беликов, упокой господи его душу, лежит в могиле, Врангель, бог его знает, то ли в Индии, то ли на Амуре, Обух — в Верном, милый Вали-хан — вообще в неизвестности и жив ли? С одними Гейбовичами еще можно отвести душу, но и то ходят слухи, что назначают Артемия Ивановича городничим в Аягуз.

Жсна — жсна рядом. Спит в соседней комнате. Рядом — и далеко. Нет с ней лада, покоя, счастья. Он любит ее, да мало радости в этой любви. В выдуманном мире живет Мария Дмитриевна, и некорошо ей там, вечно какие-то неслучности происходят в том мире: самые благородные помыслы обрачиваются драмой иль фарсом, иль тем и другим вместе. Вот спасала она Марину, ту, дочь поляка, от отца-тирана, воспитывала, а кончила тем, что стала ревновать ее к Федору Михайловичу. Между тем уж очень небрезгливым нужно быть, чтобы полститься на эту девицу. Выдали ее наконец замуж, но нрава ее это не изменило. Теперь муж ее, казачий хорунжий, уходя из дома, косы ее прищемляет ящиком комода, ящик запирает, а ключ уносит с собой, оставляя жену к комоду прикованной. Грязь и варварство...

Все так, да не об этом надо думать. Федор Михайлович знает, что подходит его семипалатинское сидение к концу, что вышел указ об его отставке, но все равно свобода еще не полная — в столицах ему жить запрещено. Однако и это не главное; конечно, снять запрет будет хлопотно, но вряд ли уж долго запрещение продержится, по обстоятельствам общественным видно — нет, не долго. Другое больше беспо-

хов. Дороги оказались плохими, чуть ли не сквернейшими во весь путь, и это еще усиливало дурное настроение Федора Михайловича, сердившегося, что не состоялась встреча с сестрами и Москвой. Несколько скрасил дело заезд в известный Сергиев монастырь, где Достоевский с интересом осмотрел хранившиеся там личные вещи, одежду, драгоценности, утварь русских царей допетровского времени. Но все же настроение оставалось неважным и по приезде в Тверь, и это сразу наложило отпечаток на отношение Федора Михайловича к старинному русскому городу.

С ним не раз так бывало: вдруг ни с того ни с сего начинал враждовать с кем-нибудь или чем-нибудь и никак не мог успокоиться. Теперь он воевал с Тверью и неустанно помнил ее в письмах: «В Твери погода дурная, а скука страшная», здесь «сумрачно, холодно, каменные дома, никакого движения, никаких интересов — даже библиотеки нет порядочной. Настоящая тюрьма!» Даже театр тут «ничтожный», даже почтамт «скверный, неисправный и гадкий», даже доктора «дураки», у которых не стоит «пачкаться».

О тверских врачах и почтамте той поры нам судить трудно, может, Федор Михайлович и не преувеличивает, однако «движение» было, «интересы» имелись — это уж нам известно точно. В Твери существовала сильная либеральная оппозиция, через полтора года тверские либералы выступили с протестом против грабительского характера «освобождения» крестьян и были разогнаны царем по ссылкам. Но Достоевский, кажется, и не заметил этого местного «движения», потому что губернский масштаб был не для него.

Тверь была без вины виновата тем, что «здесь все и виднее и слышнее», тем, что совсем рядом был недоступный Петербург, где кипела такая деятельность, без участия в которой Федор Михайлович уже не мыслил своей жизни. Ему «тяжело... жить здесь», именно потому, что «время уходит». «Я хоть и сижу в Твери, а все-таки продолжаю странствовать». «Решительно, как повешенный между небом и землею... Живу точно на станции. Даром теряю время...».

Быт Достоевского в Твери — почти бивачный. С трудом нашли маленькую квартирку с мебелью. Денег, как обычно, нет — приехали с двенадцатью целковыми. Знакомых домами — две-три человека, да и то лишь Федор Михайлович ходит в гости, а сами Достоевские не принимают.

Видимо, в Твери Мария Дмитриевна окончательно перестает играть мало-мальски заметную роль в жизни своего му-

жа. Он охвачен нетерпением, он лихорадочно строит огромные планы и торопит их осуществление, он возобновляет старые знакомства, а что делать ей? Круг интересов узок, знакомых нет. Пустоту Мария Дмитриевна заполнила начавшейся именно в Твери с приезда Михаила Михайловича ревнивой, упрямой и мелочной ненавистью к братьям и сестрам мужа. Ненависть принесла ей много мучений — никто, и в первую очередь сам Федор Михайлович, к этому всерьез не относился, никто с ней ответно не враждовал, все снисходительно согласились считать чувство Марии Дмитриевны извинительным капризом больной женщины — можно представить, как это мучило Исаеву при ее гордости и самолюбии!..

У Федора же Михайловича отношение к ней совершенно определенное: «Взял на себя заботы семейные и тяну их». Это пишется из Твери Врангелю, тому Врангелю, который был поверенным «грозного чувства». Сейчас Достоевский об этом не помнит — «счастье не в счастье, а лишь в его достижении». А следующая фраза письма звучит приговором первой любви Достоевского и самой Марии Дмитриевне: «Но я верю, что не кончилась еще моя жизнь и не хочу умирать». А жизнь Марии Дмитриевны кончалась. Уже в Твери она «все хворает».

...Итак, нужно как можно быстрее добиться разрешения на проживание в столицах. Есть старый, испытанный способ — высокие знакомства. Достоевский знакомится с губернатором — графом Барановым. Граф молод, энергичен, это удачно строящий карьеру бюрократ новой, alexandровской формации (для Герцена «Барановы и Адлерберги» были нарицательным обозначением той, только что родившейся бюрократии Александра Николаевича). Жене его, урожденной Васильчиковой, молодой литератор Достоевский, оказывается, был представлен еще тринадцать лет назад в салоне Соллогуба. Граф и графиня очень любезны (впрочем, сейчас все государственные мужи новой формации очень любезны к лицам, возвращающимся после долгого отсутствия с окраин империи). Губернатор, разумеется, сделает все, что от него зависит, для того, чтобы выполнить желание г-на Достоевского. Он готов сам передать прошение Федора Михайловича шефу жандармов и начальнику III отделения Долгорукову — и с самыми лестными рекомендациями. Но вот в чем, как это, да, за-ко-вы-ка. Василий Андреевич сейчас находится в заграничном вояже и вернется не так скоро.

«— Всю ночь сегодня,— сказала я,— читала ваши «Записки из подполья»... И не могу освободиться от впечатления... Какой это ужас — душа человека! Но и какая страшная правда!..

Федор Михайлович улыбнулся ясной, открытой улыбкой.

— Краевский * говорил мне тогда, что это — мой настоящий шедевр и чтобы я всегда писал в этом роде, но я с ним не согласен. Слишком уж мрачно. Это уже преодоленная точка зрения. Я могу написать теперь более светлое, примиряющее».

Нельзя не учитывать и обстоятельства личной жизни Федора Михайловича той поры, когда создавались «Записки», — они ведь писались буквально у постели умирающего человека — человека, с которым так много связано в прошлом. Письма Достоевского тех месяцев — отчет о медленной агонии жены. 10 ноября 1863 года он пишет Констант: «Здоровье Марии Дмитриевны очень нехорошо. Вот уже два месяца она ужасно больна. Ее залечил прежний доктор...» 30 января — ей же: «Мария Дмитриевна от болезни стала раздражительна до последней степени. Ей несравненно хуже, чем как было в ноябре, так что я серьезно опасаюсь за весну. Жаль ее мне ужасно и вообще жизнь моя здесь не красна. Но, кажется, я необходим для нее и поэтому остаюсь. У Марии Дмитриевны поминутно смерть на уме: грустит и приходит в отчаянье. Такие минуты очень тяжелы для нее. Нервы у нее раздражены в высшей степени. Грудь плоха, и иссохла она как спичка. Ужас! Больно и тяжело смотреть».

Так тянется неделя за неделей. 20 марта — пасынку: «Ты, может быть, скоро осиротеешь». 26 марта — брату: «Мария Дмитриевна до того слаба, что Александр Павлович (зять Достоевского, доктор Иванов.— П. К.) не отвечает уже ни за один день. Далее 2-х недель она ни за что не проживет. Постараюсь кончить повесть поскорее, но сам посуди — удачное ли время для писания?.. Она может умереть нынче вечером, а между тем сегодня же утром рассчитывала, как будет летом жить на даче и как через три года переедет в Таганрог или Астрахань». 2 апреля — ему же: «Жена умирает, буквально. Каждый день бывает момент, что ждем ее смерти». 9 апреля — ему же: «Мария Дмитриевна почти при последнем издохании».

Федор Михайлович несколько раз упоминает о том, что

* Мемуаристка путает, говорит это Аполлон Григорьев.

больная жена стала исключительно раздражительной. В книжке дочери писателя говорится, что незадолго до смерти Мария Дмитриевна призналась мужу: она была любовницей Вергунова, провела с ним ночь перед венчанием, затем Вергунов поехал за ней из Сибири в Россию, и она постоянно с ним встречалась и в Петербурге и во Владимире. Разумеется, все это дикий вымысел (причем вымысел опять-таки в духе повестей Марлинского): никуда из Сибири Вергунов не уезжал и в романтические любовники совершенно не годился. Но не исключено, что больная женщина с абсолютно растроеными нервами действительно могла сделать Федору Михайловичу, такое «признание».

Утром 15 апреля Достоевский пишет Михаилу Михайловичу: «Вчера с Марией Дмитриевной сделался решительный припадок: хлынула горлом кровь и начала залывать грудь и душить. Мы все ждали кончины. Все мы были около нее. Она со всеми простилась, со всеми примирилась, всем распорядилась. Передает всему твоему семейству поклон с желанием долго жить. Эмилии Федоровне особенно. С тобой изъявила желание примириться. (Ты знаешь, друг мой, она всю жизнь была убеждена, что ты ее тайный враг). Ночь провела дурно. Сегодня же, сейчас Александр Павлович сказал решительно, что нынче — умрет. И это несомненно».

Утреннее письмо догоняет вечерняя записка: «Милый брат Миша, сейчас, в 7 часов вечера, скончалась Мария Дмитриевна и всем нам приказала долго и счастливо жить (ее слова). Помяните ее добрым словом. Она столько выстрадала теперь, что я не знаю, кто бы мог не примириться с ней».

Ночь Федор Михайлович проводит у тела жены. Воспоминания о прошлом переходят в мысли о смерти и бессмертии. Назавтра утром он записал свои размышления. Эта запись начинается словами: «Маша лежит на столе. Увижу ли с Машей?» Но дальше все личное уходит из строк, и мысли приобретают сбобщенный, космический характер. Суть рассуждения сводится к тому, что бессмертие является конечной целью развития человечества, идеалом, к которому стремится человек. Но достижение идеала прекращает дальнейшее движение и поэтому и нежелательно и невозможно.

Как это «по-достоевски»! Федор Михайлович глубоко переживал смерть жены, этому есть свидетельства. Но и трагедия, произшедшая в его жизни, сейчас же становится для